

ДВЕ ТЁЩИ, ОДИН СЕЙФ И ПОЛМЕШКА СОВЕСТИ

роман



Анастасия Леманн

Две тещи один сейф и полмешка совести

<https://litres.ru/74303364>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мне достался в наследство дом у озера. Красота - наличники, русская печь, участок до самой воды. Одна беда — по ночам там кто-то копает.

Копают, как выяснилось, мои родные старушки. Мать — с лопатой вместо ходунков, «врач велел двигаться». Свекровь — с валидолом. Обе умирают уже сорок лет, обе копают мой двор с двух сторон и обе точно знают: в дедовом сейфе что-то есть.

А ещё у меня есть муж. И чек из ресторана в кармане его пиджака: два салата, бутылка вина и клубника со сливками. Клубнику Ефим не ест, у него от неё сыпь и жуткая аллергия. Значит, заказывал не себе.

А дальше будет весело....

Содержание

Пролог.	4
Глава 1.	11
Глава 2.	24
Глава 3.	37
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Анастасия Леманн

Две тещи один сейф и полмешка совести

Пролог.

— Стоять, — шёпотом скомандовала я и подняла фонарь.

— Кто в яме?

Яма молчала. Потом из неё высунулась голова в платке, из-под которого торчали бигуди.

— Аля, погаси свет, — голос у головы был мамин, а шёпот вражеский. — Ты мне весь план сорвёшь.

Я стояла посреди дедова двора в резиновых сапогах на босу ногу, в куртке поверх ночнушки, и светила фонарём на собственную мать. Третий час ночи. Конец апреля. Село спит, озеро спит, даже собаки спят.

Моя мать — нет. Моя мать копала.

— Мам, ты же умираешь.

— Я и умираю, — Октябрина Емельяновна в своей яме даже выпрямилась от достоинства. — На свежем воздухе. Врач велел двигаться.

— Врач велел тебе двигаться с тонометром. А ты с лопатой.

— Лопата — это опора. Вместо ходунков.

Я хотела уточнить, зачем опора вошла в землю на штык, но тут за сараем звякнуло ведро.

Мы обе замерли. Мать пригнулась в своей яме, как в окопе, и одними губами показала: тихо. Я перевела фонарь на сарай.

Из-за угла, кряхтя, выбиралась вторая тень. В новых калошах поверх домашних тапок, с валидольной сумочкой через плечо и с лопатой наперевес шла моя свекровь, Ефросинья Гавриловна. Шла бодро, как на автобус, который уже отходит.

Увидев свет, она охнула и опустилась прямо на перевёрнутое ведро — точным, отработанным движением человека, который падает только на подготовленные позиции.

— Сердце. — Сумочка легла на колени, ладонь легла на сумочку. — Всё, Алечка. Отходит твоя Ефросинья.

— С лопатой отходит?

— Лопату я нашла. Лежала. А я подняла, чтобы никто не споткнулся.

За её спиной, у самого забора, чернела вторая яма. Аккуратная, с отвесными стенками. Человек, который «отходит», копал её явно не первый час и явно не в первый раз.

Я перевела фонарь с одной на другую. Мать в окопе у крыльца. Свекровь на ведре у забора. Между ними — тёмный дедов дом, где в боковушке за печной стеной спала моя восьмилетняя дочь, единственный человек в этой семье, у

которого ночью хватало совести просто спать.

— Так, — я опустила фонарь. — Обе. К дому. Шёпотом. Люба спит.

И они пошли. Причём каждая старалась идти медленнее другой, чтобы не выглядеть здоровой.

Это надо было видеть. Моя мать умирала двенадцать лет. Особенно тяжело ей становилось, когда надо было помыть посуду или посидеть с внучкой. Свекровь умирала лет десять, но с обмороками: падала она исключительно на мягкое и исключительно при свидетелях.

А тут — ночь, глина, штыковые лопаты. И обе бодрее меня.

На веранде я усадила их по разным углам стола, как в школе рассаживают драчунов. Налила обеим воды. Мать посмотрела на стакан с презрением человека, которому недоливают.

— Это она за мной следит, — мать ткнула пальцем через стол. — Я вышла подышать, а она уже тут. С инвентарём.

— Я?! — свекровь набрала полную грудь воздуха и на всякий случай взялась за валидолную сумочку. — Октябрина, побойся бога. Кто вчера у колодца шагами участок мерил? Соседка видела.

— Соседка твоя видела сон. Я мерила давление.

— Шагами?

— Современная медицина, Фрося, шагнула далеко. Не тебе с твоими калошами её догонять.

— Теперь рассказывайте. Что вы копали?

— Червей, — мать даже не моргнула. — Для рыбалки.

— Ты не рыбачишь.

— Начну. Мне полезно. У воды давление выравнивается.

— А вы, Ефросинья Гавриловна?

Свекровь прижала к груди валидолную сумочку и подняла на меня взгляд, полный вселенской кротости.

— Георгины, Алечка. Корни делила. По лунному календарю сегодня можно.

— В чужом дворе? Ночью?

— Луна, — с нажимом повторила свекровь, — не спрашивает, чей двор.

Мать издала звук, который у неё означал смех, презрение и жалобу на сердце одновременно. Свекровь в ответ поджала губы. Между ними прошёл разряд, знакомый мне с самой свадьбы: эти двое воевали всю мою семейную жизнь и, судя по разгону, собирались воевать всю мою вдовью, если до неё дойдёт.

Дед Аникей умер в феврале. Дом у озера он оставил мне, единственной внучке, — курень с наличниками, с русской печью, с участком до самой воды. Я приезжала сюда четвёртые выходные подряд разбирать его вещи, и четвёртые выходные подряд обе мамы навязывались «помогать». Помощи от них было — как от кота при переезде, но они держались за этот дом клещами, и я, дура, умилялась: старенькие, тянутся к семье.

А старенькие рыли мой участок с двух сторон, как две экс-

каваторные бригады, не знающие друг о друге.

— Ладно, — я собрала со стола обе пары перчаток, испачканных глиной по локоть. — Утром поговорим. Мама — в горницу. Ефросинья Гавриловна — в летнюю кухню. И если кто-то из вас до рассвета умрёт, пусть умирает тихо: ребёнку к девяти на плавание.

Они расходились по комнатам с видом оскорблённых королев. У двери мать обернулась:

— Аля. А Ефим где? Почему жена одна по ночам с фонарём бегают?

— У Спири ночует. Они движок перебирают, там до утра работы.

— Движок, — повторила мать со странной интонацией. Не ехидной, как обычно. Задумчивой. — Ну-ну.

Я тогда не услышала этого «ну-ну». Мне было не до того: я держала в руках две грязные лопаты и пыталась понять, что можно искать в огороде у покойного старшины, кроме прошлогодней картошки.

Услышала я позже. Через двадцать минут, когда в доме всё стихло и я, проходя через сени, стала вешать на гвоздь мужнин пиджак. Ефим оставил его днём: приезжал «помогать», полчаса поносил коробки, выпил чаю и уехал к Спири. Пиджак упал с гвоздя, я подняла, и из внутреннего кармана вылетела бумажка.

Чек. Ресторан «Волжская терраса», прошлый четверг, девятнадцать сорок. Я поднесла его к лампе.

Два салата. Два горячих. Бутылка красного сухого. Десерт «Клубника со сливками» — один. И две трубочки к молочному коктейлю: это уж совсем на двоих, в одиночку так не пьют.

Прошлый четверг. Тот самый, когда Ефим позвонил в восемь вечера и усталым голосом рассказал мне, что они со Спирей «по уши в масле» и он останется в гараже, потому что «движок сам себя не переберёт».

В ресторане, значит, перебирал. С клубникой со сливками.

Я стояла в сенях, держала чек двумя пальцами и ловила себя на странном: руки сами тянулись к рукаву пиджака, стряхнуть с него несуществующую пылинку. Десять лет брака приучили меня наводить блеск на всё, что тускнеет. Я — мастер маникюра, у меня работа такая: полировать до сияния то, что жизнь поцарапала.

Только вот муж мой не ноготь. Перекрыть его лаком в два слоя не выйдет.

Я перечитала чек ещё раз. Буквы не менялись. Четверг, девятнадцать сорок, два салата, одна клубника.

В голове, как назло, крутилась всякая ерунда: что клубнику он не ест, у него от неё сыпь. Значит, заказывал не себе. Значит, сидел напротив, смотрел, как она ест, и не чесался. Вот что обидно: рядом со мной он покрывался пятнами, если клубника просто лежала на общем столе, а тут, выходит, вылечился.

За стеной скрипнула кровать: Люба перевернулась во сне. В горнице мать демонстративно закашлялась — проверяла, слышу ли я, как она умирает. В летней кухне свекровь двигала табуретку: тоже, надо думать, готовилась к смерти, с комфортом.

А я стояла между ними со своим чеком и понимала, что за одну ночь моя жизнь странно перекосилась. Во дворе — две ямы, вырытые двумя умирающими. В кармане — ужин на двоих, съеденный без меня. И один вопрос на всё это хозяйство: что в моём доме ищут все эти люди и почему никто из них не ищет этого днём, при мне?

Дед Аникей, старшина в отставке, говорил про совесть просто: она как цемент, мешками не выдаётся, бери сколько есть и мешай раствор. Судя по этой ночи, на всю мою родню остатков было — хорошо если полмешка.

Утром я собиралась начать с живых. С покойным дедом мы ещё наговоримся, у нас лето впереди.

Чек я сложила вчетверо и убрала в карман куртки. Обе лопаты занесла в сени и заперла дверь на крюк.

До рассвета оставалось три часа, и я легла рядом с дочкой, не раздеваясь. Люба во сне подвинулась и положила мне руку на плечо, как маленький пограничник, который один тут на всех заставах.

Глава 1.

— Я требую очной ставки, — мать отодвинула тарелку и положила обе ладони на стол, как следователь в кино. — Пусть эта женщина при всех скажет: что она делала ночью у забора?

— Я умирала, — Ефросинья Гавриловна у плиты даже не обернулась. — А вот что ты делала в яме у крыльца, Октябрина, пусть люди спросят.

— Я в ней лежала. Готовилась.

— К чему?

— К худшему.

Люба зачерпнула каши и переводила взгляд с одной бабушки на другую, как на теннисном матче. Восемь лет человеку, а выдержке позавидовал бы дедов замполит.

— Мам, — она перегнулась ко мне через стол, — а к худшему готовятся с лопатой?

— В нашей семье — да.

Утро в дедовом доме шло по расписанию дурдома. Каша остывала, чайник кипел по третьему разу, и обе мои старушки, ночью бодро оравшие шёпотом на весь двор, к завтраку вернулись в образ: мать держалась за висок, свекровь за сумочку с валидолом. Висок и сумочка работали у них вместо погон: по ним полагалось понимать, кто тут главный страдалец.

— Значит, так, — я поставила перед каждой по чашке.
— Ночь я вам прощаю. Обеим. Но ямы сегодня закопаете. Сами. Лопаты выдам под расписку.

— Мне нельзя наклоняться, — мгновенно ожила мать. — У меня голова.

— А мне нельзя волноваться, у меня сердце, — не отстала свекровь. — И потом, я не копала. Я поднимала лопату. С земли.

— Вот и опустишь её обратно. В яму. Вместе с землёй.

Мать издала свой фирменный звук оскорблённого здоровья. Я налила себе чаю и села напротив, спиной к окну, чтобы видеть обеих сразу. Старшина Аникей учил: если противников двое, не давай им зайти с флангов.

Про деда я вспомнила не просто так. Это был его стол, его чашки с якорями, его дом, который он собрал этими вот руками после службы, — и его две сватьи сидели сейчас по углам этого дома, как две мины, забытые с прошлой войны.

— Теперь главный вопрос, — я отпила чаю. — Что вы ищете?

Пауза вышла содержательная. Мать углубилась в чашку, свекровь занялась портретом деда на стене, будто он мог подтвердить её кротость.

— Ничего, — хором.

Впервые на моей памяти у них получилось хором.

— Понятно. Люба, ты что-нибудь знаешь?

Дочь доела кашу, аккуратно облизала ложку и взвесила

выгоду.

— А что мне будет?

— Моё уважение.

— А посущественнее?

— Люба.

— Ну ладно, — она вздохнула, как человек, продешевивший на сделке. — Баба Фрося вчера стенку в сених стучала. Костяшками, вот так. И ухом слушала. А баба Октябрина в подпол лазила с фонариком, я видела, у неё фонарик в кармане халата, розовый такой.

— Это огурцы! — свекровь для убедительности взялась за сердце. — Банку огурцов искала!

— В стене? — не выдержала мать.

— А ты в подполе что, Октябрина? Тоже готовилась к худшему? Худшее у нас на первом этаже сидит.

Я смотрела на них и понимала: врут обе. Причём врут одинаково: торопливо, с лишними подробностями. Про огурцы, про лунный календарь, про червей. У меня в студии так врут женщины, которые «просто зашли спросить», а сами два часа сидят и по кругу рассказывают, какой у них замечательный муж.

Руки не врут никогда. У матери ногти были обломаны с двух сторон, о землю и о камни. У свекрови на ладони, под кольцом, налился свежий мозоль. Умирующие с лопатами. Диагноз, которого нет в справочниках.

И обе что-то знали про этот дом. Что-то такое, ради чего

можно копать ночами, стучать по стенам и лазить в подпол с розовым фонариком.

Клад? Я повертела это слово в голове так и сяк, и оно мне не понравилось. Какой клад у старшины в отставке? Дед всю жизнь прожил на пенсию и огород, зимой подшивал соседям валенки, летом чинил лодки. Его богатство висело на стене: портрет, где он молодой, в форме, с медалями. Всё.

Но две старухи, которые двенадцать лет поднимали тревогу из-за сквозняка, вдруг забыли про свои смерти и взялись за шанцевый инструмент. Просто так такое не бывает.

Про чугунную ванну я тоже помнила. Три года назад мать решила, что старая ванна «мешает композиции» её палисадника. Днём она не могла поднять авоську с кефиром — мне звонили соседи, я неслась через полгорода. А в ту ночь ванна сама собой переехала от крыльца к сараю. Чугунная. Метр восемьдесят. Мать утром разводила руками: «Наверное, добрые люди». Добрые люди, ага. С её отпечатками на бортах.

Так что копательные способности моей родни я знала. Меня интересовало другое: что они чувствуют. Эти двое чуяли выгоду через бетон, как миноискатели.

— Ладно, — я собрала чашки. — Живите. Но учтите: услышу ночью лопату — сдам обеих в санаторий. В один. В двухместный номер.

Вот тут они впервые за утро переглянулись без ненависти. Общая угроза объединяет.

Через полчаса я вышла во двор развесить бельё и услы-

шала через открытую форточку горницы, как мать докладывает в телефон:

— Настроена решительно. Ключи будет носить на шее, я её знаю, она с шеи и спит... Нет, Фрося копает под меня, но я держу рубеж... Какой санаторий, ты что. Из санатория за домом не поведишь.

Кому она это докладывала, я даже выяснять не стала. У матери всю жизнь имелся штаб: три подруги на телефоне, каждая при должности. Одна отвечала за слухи, вторая за лекарства, третья, по-моему, за международное положение.

Из летней кухни в это же время шелестел встречный доклад свекрови, слов не разобрать, но по интонации выходило то же самое: держу рубеж, окопалась, прошу подкрепления.

Две армии. Один дом. И я посередине, с ключом на шее.

Пока я развешивала простыни, ко мне подошла Люба. Встала рядом, подала прищепку. Помолчала по-взрослому.

— Мам. А если я ещё что-нибудь узнаю — это сколько стоит?

— В смысле?

— Ну, я же за бабушками смотрю. Это работа. Баба Фрося мне за сведения шоколадку дала. Медальку.

Я повернулась к ней вместе с мокрой наволочкой в руках. Восемь лет. Хвостики. Царапина на локте. И уже своя ставка за разведданные.

— Люба. Мне ты рассказываешь бесплатно. Я мать.

— Так и баба Октябрина говорит: «Я мать, мне положе-

но». А сама потом шоколадку не даёт.

Я хотела рассмеяться, а вышло вполсилы. Что-то в этом было не смешное, только я не успела разобрать что: у калитки посигналили, мать закричала с веранды, что умирает от звука, и день покатился дальше.

К обеду приехал Ефим. Я услышала его машину от калитки и поймала себя на старом: рука сама пошла поправить волосы. Десять раз себя ловила на этом жесте за последние годы и десять раз злилась. Тело помнило то, что голова уже начала проверять по чекам.

Он вошёл во двор лёгкий, загорелый, в чистой футболке — и с порога включил своё фирменное: улыбку на полдвора.

— Девчонки мои! Все живы?

— Еле-еле, — хором сообщили с веранды обе «девчонки», семидесяти без малого лет.

Люба повисла у него на шее. Он закружил её, поставил, вытащил из машины пакет — пастила, её любимая. Хороший отец, что тут скажешь. Отец у нас всегда был хороший. Это муж последнее время ночевал по гаражам.

— Ефим, — я вытерла руки о фартук. — Разговор есть.

— Ух ты, как официально. Может, сначала чаю?

— Разговор короткий.

Мы отошли к машине. Я достала из кармана сложенный вчетверо чек и развернула у него перед грудью, как удостоверение.

— «Волжская терраса». Четверг. Ты в этот вечер переби-

рал движок у Спири.

Надо отдать ему должное: он не дёрнулся. Ни один мушкетёр. Только взял чек, изучил, повертел — спокойно, по-хозяйски, как накладную в своём боксе.

— А, это. Заказчика возил. Помнишь, я говорил, мужик с «крузаком», коробку ему перебирали? Он позвал поужинать, обмыть, так сказать, ремонт. Неудобно отказать, Аль. Это ж клиент, с него ещё два ремонта будет.

— С бутылкой красного? Ты же за рулём.

— Так это он пил. Я минералку. Видишь, в чеке... — он глянул и осёкся на полсекунды, на самую малость. — Ну, минералку, наверное, отдельным чеком пробили.

— А клубнику со сливками кто ел? Заказчик?

— Жене его брали. С собой.

— И коктейль с двумя трубочками — жене? С собой? В стакане навынос с двумя трубочками?

Он рассмеялся. Легко, обаятельно, чуть устало — так он смеялся всегда, когда я «накручивала». Этот смех работал безотказно с самых танцев в клубе, где мы познакомились: я тогда сломала каблук, а он присел, повертел туфлю и починил её перочинным ножом прямо на ступеньках. Руки золотые. За эти руки я и пошла, если честно. Мне казалось, человек, который может починить всё, и жизнь чинить умеет.

Чинить он умел. Он не умел не ломать.

Смех работал и позже: каждый раз, когда я находила в его телефоне что-нибудь странное и соглашалась, что мне пока-

залось.

— Аль. Ну ты чего. Хочешь, у Спири спроси — я к нему в одиннадцать приехал, мы до двух возились.

— В одиннадцать. А ужин в семь сорок. Четыре часа коробку обмывали?

— Ну поговорили, посидели. Мужики же.

Я смотрела не в лицо ему. Я смотрела на руки. Лицо у Ефима было отличное, натренированное, лицу его я верила первые годы брака. А руки — вот они: большие пальцы спрятались в кулаки, и обручальное кольцо он крутил, крутил, крутил, будто оно вдруг стало ему мало.

В студии я это называю про себя «клиент созрел до правды, но будет врать до последнего». Такие руки у женщин, которые говорят «да я и не переживаю совсем», а лак на большом пальце сгрызен до основания.

— Ладно, — я забрала у него чек, сложила по старым сгибам и спрятала. — Клиент так клиент.

— Ну слава богу, — он потянулся меня обнять, и я даже позволила. Щекой я упёрлась ему в плечо и подумала, что футболка новая. И что стирала её не я. — Ты чего тут одна куковать будешь? Поехали домой, я вас заберу.

— Мне дедовы вещи разбирать. Люба пусть едет, у неё завтра бассейн.

— Как скажешь, хозяйка поместья, — он снова засмеялся, но теперь я услышала в этом смехе новое. Облегчение. Человек, которого отпустили с допроса.

Они уехали. Люба махала мне из окна, пастила в обнимку. Обе старухи, для порядка поохав, разошлись по своим углам: мать пошла «прилечь», свекровь отправилась «мерить давление». Цену этим процедурам я уже знала: у обеих телефоны грелись, как утюги.

А я осталась стоять посреди двора между двух незакопанных ям.

Врёт. Складно, с подробностями, с заказчиком и «крузаком», а всё равно врёт. И я, дура, только что сама подарила ему это «клиент так клиент», потому что цепляться за версию с заказчиком было теплее, чем додумывать про клубнику. Надежда вообще штука теплокровная. Ей всё равно, чем питаться, лишь бы жить.

Ничего. Я умею ждать. Профессия приучила: гель-лак нельзя снимать рывком, ноготь сорвёшь. Размачивай и жди.

После обеда заглянула Фёкла Тарасовна, соседка через два дома, с пирогом и новостями. Пирог был с капустой, новости шли с начинкой поинтереснее.

— Ты, Алевтина, знаешь, что у нас в Заозёрье делается? — она уселась на веранде основательно, надолго. — Участки скупают. У воды — подчистую. К Чарушину, к Игнату, приезжали трое, полполя хотели купить под «коттеджный посёлок». Он их с поля и проводил. Коротко так проводил, он же слов лишних не тратит.

— Дед-то твой знал, что делал, когда дом тут ставил, — она оглядела веранду, как оценщик. — Аникей Силыч дом

рубил — вся улица смотрела. Он же старшина, у него гвоздь криво не входил, гвоздь боялся. Такой дом теперь этим только дай.

— А к нам-то это каким боком, тётъ Фёкл?

— А таким, что про твой дом в чате уже спрашивали. Мол, чей теперь, наследники будут продавать или как. Дом-то у тебя, деточка, теперь на вес золота: участок до воды, сотки какие. Риелторы эти как чайки: где блеснуло — туда всей стаей.

— И почём нынче блестит?

— А вот столько, что за соседский домишко, вполонину твоего и без воды, весной давали столько, что Силантьевна села, где стояла. И не встала, пока не пересчитала.

Она отломила себе же принесённого пирога и понизила голос:

— И ещё скажу. Машину тут видели. Белая такая, аккуратная. Стояла у поворота и стояла, дня три подряд. Женщина за рулём, в костюмчике. Не наша. Наши в костюмчиках только в район ездят, и то не в белых.

Женщина в костюмчике. Я вспомнила чек, клубнику, две трубочки — и переставила местами пару мыслей. Получалось нехорошо. Получалось, что вокруг моего наследства кружит кто-то в белой машине, а мой муж тем часом угощает кого-то ужином и врёт про минералку.

Совпадение? Может быть. Но у нас в семье совпадения отродясь не водились. У нас если что-то совпало — значит,

кто-то это организовал.

— Тётъ Фёкл, а если эта машина ещё встанет у поворота — вы мне номер черкните, а?

— Обижаешь, — Фёкла Тарасовна с достоинством вытерла руки. — Уже. Вчера ещё сфотографировала. У меня, милая, телефон новый, внук научил: я теперь весь чат держу вот этими руками.

Вечером дом наконец затих. Мать и свекровь, отвоевав друг у друга право первой помыться в бане, обессилели и разошлись спать. Я осталась в горнице одна — разбирать дедов шкаф, то, ради чего вообще приезжала.

Вещей у деда было немного, и все по делу: форма в чехле, коробка с инструментом, подшивки журналов по столярке, жестянка с рыболовными крючками. Форму я вынула на свет и подержала на весу: сукно за столько лет не съела ни одна моль, потому что дед перекладывал его полынью. Медали лежали отдельно, в коробочке из-под леденцов, завёрнутые каждая в свою тряпицу. На дне шкафа стояли валенки, им сносу нет. Я вынимала это всё по одному, и каждая вещь ложилась в руки, как его ладонь на плечо.

Дед один в этой семье никогда не суетился. Когда я выходила за Ефима, дед выдал мне ровно три предложения: «Гляди сама. Мужик неплохой, но лёгкий. А дом на лёгком не стоит». Я тогда обиделась. Двадцать пять лет мне было, Ефим кружил меня на руках, и всё лёгкое в нём казалось мне летящим.

Потом я отодвинула шкаф, чтобы вымести за ним, и увидела простенок.

За шкафом, в простенке между окном и печной стеной, штукатурка отстала и вспучилась, как всегда бывает в старых домах. Один пласт держался на честном слове. Я тронула его, он качнулся и осыпался вниз серой коркой, а под ним, вместо дранки и глины, открылось что-то ровное.

Я поднесла лампу ближе. Металл. Гладкий, крашенный в цвет сурика, с аккуратным сварным швом по краю. Я простучала костяшкой — звук пошёл гулкий, объёмный, с пустотой за ним.

Я отколупала ещё кусок штукатурки, потом ещё. Расчистилось окошко размером с форточку, и в этом окошке обозначился угол дверцы. Настоящей стальной дверцы с утопленной петлёй и круглой замочной скважиной, забитой раствором.

В стене дедова дома стоял сейф. Замурованный. И судя по тому, как ровно легла штукатурка, замуровал его сам хозяин: своими руками, на совесть, много лет назад.

Я села на пол прямо перед дверцей и поймала себя на том, что тру её рукавом. Навожу блеск. Нервы: когда я не знаю, что делать с жизнью, я начинаю полировать то, что под руку попадётся, — клиентки в студии от этого в восторге, муж в ужасе, а мне помогает.

В доме было тихо, только за стенкой, в горнице, скрипнула кровать: мать переворачивалась. Или не спала. Или слушала,

как я двигаю шкаф.

Утром я ломала голову: что они чувуют? Вот это и чували, обе. Всю жизнь я считала, что у мамы дар находить у людей больные места. Выходило, что дар у неё шире. Она находит закопанное.

Завтра предстояло прожить день, в котором у меня есть муж с чужим рестораном, дом с чужой машиной у поворота и стена с дедовым секретом. А ещё студия, запись с десяти утра, шесть клиенток, у двух из них юбилеи, и им нельзя с обломанным мастером. Жизнь не спрашивает, готова ли ты, она просто присылает следующую клиентку.

По уму, начинать надо было с мужа. Но я уже знала, с чего начнут мои старухи.

Я задвинула шкаф на место, вплотную к стене, и подпёрла его ещё сундуком. Ключ от горницы повернула на два оборота и повесила себе на шею, на цепочку, рядом с крестиком. Пусть теперь простукивают.

Глава 2.

— Так, клади руку и рассказывай, — Изольда включила лампу над моим столом. — С самого начала. С ямы.

Вторник, студия в Брагине, девять утра, до первой клиентки час. Изольда — мой мастер педикюра, сорок два года, двадцать из них в профессии, голос как у диктора и ноль иллюзий о людях. Когда мне надо разложить жизнь по полочкам, я сажусь в её кресло, а она в моё, и мы делаем друг другу маникюр. Дешевле психолога и держится дольше.

— С ямы так с ямы, — я положила руку на подушечку. — Ям, для точности, было две.

И я рассказала. Про лопаты, про ночь, про «георгины по лунному календарю». Про чек с клубникой. Про белую машину у поворота. Про металлическую дверцу под штукатуркой, про которую не знала даже, как говорить вслух, — так что перешла на шёпот, хотя в студии, кроме нас, был только фикус.

Изольда работала пилкой ровно, не сбиваясь, и слушала, как хирург слушает анамнез. Перебила один раз, на клубнике: «Со сливками? Ну хоть не жадный», — и снова замолчала до конца.

— Значит, смотри, что у тебя получается, — она отложила пилку. — По пунктам. Пункт первый: дом. Дом у воды, риелторня вокруг въётся, в чате спрашивают, машина чужая

пасётся. Дом хотят. Пункт второй: муж. Клубника, трубочки, «минералку отдельным чеком». Мужа, судя по десерту, уже почти взяли. Пункт третий: старухи твои. Эти воюют за то, что в стене. Итого: у тебя отнимают недвижимость, мужика и остатки семейного покоя. Всё сразу. Поздравляю, Алевтина, ты человек состоятельный: было бы нечего отнимать — не отнимали бы.

Вот за это я её и держу. Не за педикюр. За формулировки.

— И что бы ты делала?

— Я? — Изольда придирчиво оглядела мой безымянный.

— Я бы сначала выяснила, кто ест клубнику. Потому что дом и стена никуда не убегут, а мужики бегают быстро. Но ты же у нас не я. Ты сначала всех накормишь, потом всех пожалеешь, потом пойдёшь полировать дверные ручки.

— Я не полирую дверные ручки.

— У тебя ручка на складе блестит, как у нотариуса. Не ври мастеру.

Я оглядела свои руки. Руки как руки. Ухоженные, конечно. У врунов, я всегда говорю, ногти ухоженнее совести — но у меня-то по работе положено.

— Изольда. А если в стене правда что-то есть?

— В стене всегда что-то есть, — она пожала плечами. — Проводка, мыши, деньги, скелеты. Вопрос не что в стене. Вопрос — почему две пенсионерки с давлением узнали об этом раньше единственной наследницы.

Вопрос был хороший. Я носила его в себе всю неделю, как

занозу.

В четверг вечером пришло сообщение от Фёклы Тарасовны: фотография, снятая через герань на её подоконнике. Белая машина у поворота, номер читается весь, до последней цифры. Подпись: «Стоит опять. Наглая». Я сохранила фото в отдельную папку и назвала папку «Чайка». Пусть будет. Улики я собирала первый раз в жизни, но руки делали это на удивление спокойно, как гель снимали: слой за слоем, без рывков.

А в субботу заноза пришла ко мне сама. На каблуках.

Она возникла у калитки в полдень: светлый костюм, папочка под мышкой, улыбка шириной с прайс-лист. За её спиной, на дороге, машины не было: пришла пешком от магазина, каблуки в сельской пыли, но походка такая, будто под ней ковровая дорожка.

— Алевтина Ефремовна? — она сверилась с бумажкой.

— Меня зовут Стелла. Я по поводу вашего объекта.

— Моего чего?

— Объекта. Дома. — Она обвела рукой двор, наличники, старую грушу. — Прекра... Очень перспективное домовладение. Я представляю агентство недвижимости, мы работаем по вашему направлению. Разрешите, я зайду? Всего на пару минут, у меня для вас информация, которая может изменить ваше финансовое положение.

Врать не буду: пустила. Во-первых, хотела понять, откуда у «агентства» мой адрес и моё отчество. Во-вторых, у меня

за спиной уже дышали обе старухи — высунулись на голос, как суслики из нор, и не пустить гостью значило устроить представление у калитки, на радость всему чату.

Стелла вошла — и я увидела, как человек оценивает чужой дом. Это отдельное зрелище. Взгляд у неё работал, как лазерная рулетка: щёлк, потолки три десять; щёлк, брёвна лиственница; щёлк, печь в пол-избы, это минус, снесут, поставят камин. Она ещё рта не открыла, а дом в её голове уже стоял без печи, без наличников и без нас.

— Сколько у вас тут соток? — она подошла к окну и постояла, глядя на озеро, ровно столько, сколько стоят перед витриной. — До воды метров сорок? Первая линия. Юг. Ликвидность бешеная. Вы даже не представляете, на чём сидите, Алевтина Ефремовна.

— На табуретке деда, — я подвинула ей вторую. — Присаживайтесь, раз пришли.

Дальше был спектакль минут на двадцать. Стелла раскладывала передо мной бумажки с цифрами, и цифры, честно скажу, были такие, что у меня один раз звякнула крышка чайника в руке. За дом с участком предлагали столько, сколько моя студия зарабатывает лет за десять. Слова сыпались гладкие, обкатанные: «эксклюзивный договор», «покупатель с живыми деньгами», «окно возможностей закрывается», «локация уходит».

— А покупатель кто? — я долила ей чаю. — Кому это у нас печка дровяная понадобилась?

— Серьёзный человек. Семейный, — Стелла отвечала без запинки, по накатанному. — Хочет дом для родителей. Тишина, вода, экология. Печку, разумеется, уберём... уберут. Поставят котёл.

— А дед мой эту печку клал два месяца. Сам. Кирпич возил с разобранной церкви, ему батюшка разрешил.

— Вот видите, какая история! — она сделала пометку в папочке. — «Кирпич с историей» — это плюс к цене, я запишу. Покупатели любят легенду.

Я смотрела, как она пишет, и думала: вот сидит человек, для которого мой дед — легенда к кирпичу. Плюс к цене. И ведь не злая, наверное. Просто у неё глаза-рулетка: что не меряется, того не видит.

Старухи мои вели себя странно, причём обе. Мать сидела в углу с видом таможенника, которому предъявили подозрительную декларацию: молчала, поджав губы, и сверлила гостью взглядом. А вот свекровь суежилась. Подкладывала Стелле пирог, пододвигала варенье, спрашивала, не дует ли. Свекровь, которая мне за всё моё замужество чаю ни разу не налила, ухаживала за риелторшей, как за участковым врачом.

— Фрося, — не выдержала наконец мать, — ты чего стелешься? Сядь. У тебя сердце.

— У меня сердце радуется, когда в доме культурные люди, — свекровь поправила салфетку. — Девушка по делу пришла, не с лопатой.

Про лопату она зря. Мать медленно повернулась, и я поняла, что через минуту тут будет второй фронт. Пришлось вставать между ними с чайником, как миротворческий контингент.

— Подведём итог, — Стелла поднялась, оправила пиджак. — Предложение действует до конца месяца. Подумайте, Алевтина Ефремовна. Такие деньги за такую... — она запнулась на слове «рухлядь», я видела, как она его проглотила, — за такой возрастной объект бывают раз в жизни. Все документы у вас в порядке? Наследство оформлено? Обременений нет?

— В порядке, — я открыла ей дверь. — До свидания.

— Я оставлю визитку. И вот что ещё, — она приостановилась на пороге, и на секунду сквозь глянец проступило живое, цепкое, голодное. — Такие дома, как ваш, знаете, чем кончают? Пожарами. Спорами наследников. Старыми стенами, которые падают на кого-нибудь. Продавайте, пока он целый. Это я вам не как агент. Это я вам как женщина женщине.

Она ушла, а «как женщина женщине» осталось. Странная фраза от человека, который видел меня первый раз в жизни. Я стояла на крыльце, смотрела ей вслед и машинально тёрла большим пальцем визитку — гляцевую, скользкую, — пока в голове не включился Изольдин голос: «А чего это ты полируешь, Алевтина?»

Вечером того же дня старухи пошли в атаку. Сговорились

они, что ли: первый раз в жизни синхронно.

— Аля, — начала мать, когда я домыла посуду. — Надо вскрывать.

— Что вскрывать?

— Ты знаешь что. Стенку в горнице. Не делай мне тут лицо, ты шкаф сундуком подпёрла, я что, слепая? Я слепая, но не настолько.

— Мама. Откуда ты знаешь про стенку?

Пауза. Мать поняла, что проговорилась, и пошла напролом, как всегда, когда отступить поздно:

— Неважно. Материнское сердце — рентген.

— Вскрывать надо, Алечка, — мягко подхватила свекровь из своего угла. — Только не абы как. У меня есть человечек, золотые руки, он замочки открывает — комар носа не подточит. Тихонько откроем, посмотрим, что там, и назад закроем. Никто и не узнает.

— А болгаркой быстрее, — отрезала мать. — Чего там смотреть в замочек. Полчаса — и всё наше.

— Всё чьё? — не удержалась я.

Обе замолчали. Вопрос повис над столом, как лампочка без абажура — голый и неудобный.

— Семейное, — нашлась наконец мать.

— Общее, — поддержала свекровь и на всякий случай взялась за валидол.

Я вытерла руки полотенцем, повесила его на крючок и повернулась к ним. Внутри у меня к этому моменту довари-

лось.

— Слушайте меня, обе. Дом этот дед оставил мне. Стенка в этом доме — моя. И то, что в стенке, — тоже моё, что бы там ни лежало: деньги, документы или дедовы портянки. Вскрывать я его буду тогда, когда решу. Может, завтра. Может, через год. А кто полезет туда без меня — с болгаркой, с человечком или с лунным календарём, — тот поедет домой в город первым же автобусом и в этот дом больше не войдёт. Всё. Совещание окончено.

Я ждала скандала. Скандала не случилось, случилось хуже: обе переглянулись, и в этом взгляде я прочитала не обиду, а перегруппировку. Так переглядываются люди, которые поняли, что в лоб не выйдет, и уже прикидывают обход.

Ночью, выйдя на кухню за водой, я услышала из горницы приглушённое, в подушку, бормотание. Мать держала совет со штабом. До меня долетело только «нужен план "б"» и «а ты узнай у своей, где эта Стелла принимает». Я стояла бо-сиком с чашкой в темноте и соображала: стоп. Откуда мать знает, как зовут риелторшу? Стелла представилась мне. При матери она называла только агентство.

Я тогда решила, что мать подслушивала из сеней. Умею же я, когда хочу, найти всему спокойное объяснение.

А в воскресенье вечером позвонил Ефим. Голос был лёгкий, наетый, воскресный.

— Ну что, хозяйка поместья, как дела на латифундии?

— Приезжала риелторша. Предлагает продать дом.

— Да? — И вот тут он ошибся. Ни тебе «какая риелторша», ни «чего хотела», ни «гони её в шею». Вместо всего этого: — И сколько дают?

Я села на табуретку. Медленно.

— Ефим. Тебя не удивляет, что ко мне в село пришла женщина в костюме? Тебя интересует сколько?

— Ну а чего такого, — он засуетился голосом, я слышала, как он там, в городе, ходит по кухне. — Земля у воды, сейчас все это ищут, логично, что пришли. Аль, ну а если по-честному... может, и правда продать? Ну что этот дом? Печка дровяная, удобства на границе с цивилизацией. Деньги такие, что нам с тобой... Люба вырастет — ей квартиру. Себе машину поменяем. В Крым съездим наконец, ты десять раз хотела.

Он говорил, а я слушала не слова. Слова были даже разумные. Я слушала темп: он торопился, как человек, который проговаривает заготовленное и боится, что перебыют. Такое я тоже знаю по студии: заготовленный текст всегда чуть быстрее живого.

И ещё я слушала себя. Потому что где-то на «в Крым съездим» внутри у меня предательски потеплело. Мы ведь правда хотели в Крым. Ещё до Любы. Он тогда разложил на кухне карту, вёл пальцем вдоль берега и обещал: вот сюда, и сюда, и в Балаклаву обязательно. Палец у него был в мазуте, и след от этого пальца так и остался на карте, южнее Ялты. Карта до сих пор лежит у нас в шкафу. След тоже.

Вот так нас и держат. Не за руки. За старые карты.

— Ефим. Это дом моего деда.

— Да я понимаю, память, всё такое. Но память, Аль, она же не в брёвнах. Она вот тут, — он, судя по звуку, стукнул себя в грудь. — А брёвна — это просто брёвна. Дед бы первый сказал: живым — жить.

Дед бы первый взял тебя за шкурку, подумала я. Дед тебя, лёгкого, видел насквозь ещё тогда, когда я видела одни твои руки.

У деда я выросла, между прочим, наполовину. Мать вечно умирала по своему расписанию, и меня на всё лето сдавали в Заозёрье. Дед научил меня держать молоток, отличать сосну от лиственницы и молчать, когда клюёт. Я в этом доме знала каждую половицу голыми пятками. И этими же пятками, по этим же половицам, сейчас ходила чужая женщина с рулеткой вместо взгляда и записывала моего деда в легенду к кирпичу.

— Слушай, а давай завтра встретимся, всё обсудим? — Ефим разгонялся. — Я тут посмотрел варианты. Есть отличная студия под сдачу, окупаемость сумасшедшая.

— Ты уже варианты посмотрел.

Молчание. Секунды три. Для Ефима вечность.

— Ну я же для семьи стараюсь...

— Для семьи, — я встала с табуретки, потому что сидеть больше не могла. — Для семьи, Ефим, стараются дома. А ты для семьи стараешься где-то в другом месте. По четвергам.

С клубникой. Знаешь что? Поживи-ка ты пока у Спири. У тебя там движок, варианты и окупаемость. А у меня тут дом, ребёнок и две сумасшедшие матери. Когда разберёшься, для какой семьи ты стараешься, — позвонишь.

И положила трубку.

Ночь после этого я провела содержательно: полтора часа смотрела в потолок, потом взяла телефон и перечитала его сообщения за месяц. «Задержусь, клиент горит». «Спи, я у Спири». «Купил Любе самокат, только ей не говори, сюрприз». Вперемешку. Правда вперемешку с ложью, самокат вперемешку с клубникой, и попробуй отдели. В два ночи я поймала себя на том, что уже наполовину простила: ну а вдруг правда клиент, ну а вдруг правда для семьи. Дошла до ванной, посмотрела в зеркало на это размякшее лицо и вслух себе напомнила:

— Две трубочки, Аля.

Помогло. Утром я взяла телефон и набрала слесаря из райцентра — того, что ставил замки в студии. Потом взяла телефон и набрала слесаря из райцентра — того, что ставил замки в студии.

В понедельник слесарь приехал и поменял замок на входной двери дедова дома. Личинку я выбрала с секретом, ключей заказала ровно два: себе и Любе — Любин пока лёг в жестянку с крючками, до лучших времён.

Днём, пока слесарь возился с личинкой, позвонила Люба.

— Мам, а папа сегодня опять у дяди Спири ночует? Он

утром носки искал и не нашёл, взял мои гольфы. Со смешариками.

— Пусть носит. Ему идёт.

— Мам. А вы поругались, да?

Я переложила трубку в другую руку. Врать дочери, которая ведёт бухгалтерию бабушкиных шоколадок, дело безнадёжное: аудит вскрыет.

— Немножко. Взрослые иногда ругаются, потом чинятся.

— Как машины у папы?

— Как машины у папы. Только запчасти дольше идут.

Она помолчала, посопела и сменила тему на главную:

— А нам с тобой в дедов дом ключ будет? Новый?

— Тебе — первой. Лежит уже. В жестянке с крючками, где дедовы поплавки.

— Класс, — оценила Люба. — Только бабушкам не говори, где. А то они найдут. Они всё находят, знаешь. Кроме здоровья.

Устами младенца. Я спрятала телефон и пошла принимать работу.

Старухам я объявила новый порядок открытым текстом, за ужином:

— Жить живите. Но ключа не будет ни у кого. Пришли — я открыла. Ушли — я закрыла. Дом теперь режимный объект.

— А если ты на работе, а мне давление? — мать приложила ладонь ко лбу.

— На улице лето. Посидишь на лавочке, подышишь. Тебе врач велел.

— Аникой бы в гробу перевернулся, — свекровь покачала головой. — Родную сватью — на лавочку.

— Аникой, — я повесила новый ключ на шею, к крестик, и цепочка легла на своё место, как влитая, — Аникой, Ефросинья Гавриловна, лежит спокойно. Он единственный из всех вас знал, что в этой стене. И вам не сказал. Вот и думайте, почему.

Вот тут они притихли обе. По-настоящему, без театра.

Уже в темноте, перед сном, телефон мигнул сообщением от Ефима: «Ну и характер у тебя, Стрежнева. Ладно. Я у Спири, остыну. Люба со мной, накормлена, уроки сделали. Целую». И через минуту второе: «Замок, говорят, поменяла? Быстрая ты».

Говорят. Донесли уже. Интересно, которая из двух: та, что за слухи, или та, что за международное положение?

А я пошла запирать свой режимный объект. Ключ был новенький, ещё в заводской смазке, и до блеска я его натёрла прямо на ходу, подолом фартука, сама не заметив как.

Теперь пускать буду я.

Глава 3.

Грохот я слышала от колодца. Такой, будто в дедовом доме рожала бетономешалка.

Я бросила бидон с молоком на лавку у калитки и влетела в сени. Дверь в кухню была распахнута, из проёма тянуло кирпичной пылью, и в этой пыли, как в дыму сражения, двигались две фигуры.

— Стой, ирод! — орала одна. — Кто тебе разрешил печь трогать?!

— А тебе кто разрешил поленницу разваливать! Я всё видела! Ты под низ смотрела!

— Я дрова ровняла!

— В мае?!

Картина мне открылась такая. Русская печь, дедова гордость, стояла с выломанной заслонкой и разобранным боком: кирпичи, целые и колотые, лежали горкой на полу, рядом валялась кочерга, которой, судя по всему, работали как ломом. У печи, по локоть в саже, стояла моя свекровь. Сердечница. Умирающая. С молотком в руке.

Напротив, в дверях чулана, держала оборону мать с поленом наперевес. За её спиной, в чулане, поленница была разворочена до земли, и под ней, в полу, отчётливо зияло свежее копаное.

— Так, — я не узнала собственный голос. — Обе замерли.

Не замерли. Куда там.

— Алечка! — свекровь всплеснула молотком, и я на всякий случай пригнулась. — Я тебе сейчас всё объясню! Я протапливать стала, а там гудит! В печи! Гудит и простукивает! Я подумала — авария, газы, надо разобрать, пока дом не взлетел!

— У нас печь дровяная. Каким газам там гудеть?

— Болотным! — не сдалась свекровь. — Дом-то у воды!

— Врёт она всё, — мать вышла из чулана, не выпуская полена. — Она ещё вчера вокруг печи круги нарезала. Щупала. Я видела. Она решила, что там второе дно у лежанки, мне Люба сказала, что она в интернете смотрела про тайники в печах!

— А ты! — свекровь ткнула молотком в сторону чулана. — Под поленницей у тебя что, тоже газы?

— А я, — мать выпрямилась и прижала полено к груди, как знамя, — искала кольцо. Обручальное. Уронила ещё на Пасху, оно закатилось.

— На тебе кольцо, Октябрина!

Мать глянула на свою руку, где преспокойно сидело её обручальное кольцо, и не моргнула:

— Второе. Запасное.

— Врёшь и не краснеешь! — ахнула свекровь.

— Это загар, — не повела бровью мать. — И вообще, Фрося, чья бы корова. Ты в чужую печь с молотком влезла. Я хоть копала снаружи, культурно.

— Культурно! Ямы по всему двору, как на полигоне!

— Ямы — это дренаж!

Вот тут меня и прорвало. Наверное, впервые за эти недели по-настоящему.

Я подняла с пола половинку кирпича и грохнула её на стол так, что подпрыгнули чашки.

— Хватит! Обе! Молоток на стол. Полено на пол. Быстро!

И они, что удивительно, послушались. Молоток лёг на стол, полено покатилося к порогу. Стало тихо, только кирпичная пыль оседала в солнечном столбе из окна, медленно, как в церкви.

— Вы что творите, — я говорила уже тихо, и от этого им, кажется, стало страшнее, чем от крика. — Это печь деда. Он её клал два месяца. Кирпич с церкви, глина с того берега, он её ладонями гладил, когда она сохла. Он в ней хлеб пёк, когда бабушки не стало, потому что сказал: дом без хлебного духа сирота. А вы её — кочергой. За три дня до Троицы. Две старухи, которые на его поминках громче всех рыдали.

Мать открыла рот. Закрыла. Свекровь попыталась незаметно вытереть сажу со щеки, размазала шире и стала похожа на провинившегося трубочиста.

— Аля, — мать заговорила первой, и голос у неё был непривычный, без командирских ноток. — Ты не понимаешь. Нам очень надо знать, что в этом доме спрятано. Очень надо.

— Кому «нам»?

— Мне, — мать даже подбородок подняла, как на параде.
— И мне, — эхом откликнулась свекровь.

Они переглянулись с ненавистью старых партнёров, которых угораздило оказаться в одной лодке.

— Зачем?

И вот тут обе замолчали намертво. Как партизанки. Мать смотрела в пол, свекровь в окно, и по этим двум взглядам я поняла одно: причина у каждой своя, но обе причины весят больше, чем моя печь, мой дед и моё мнение вместе взятые.

Дальше выяснять мне не дали. У калитки хлопнула дверца машины, и во двор, сияя свежей рубашкой, вошёл мой муж. С букетом. Пионы, крупные, бордовые: он покупал такие на каждое примирение, у него это было отработано, как замена масла.

— Девчонки, я с миром! — начал он с порога и осёкся, увидев сначала гору кирпичей, потом сажу, потом наши лица. — Это... что у вас тут?

— Ремонт, — отчеканила мать.

— Осмотр коммуникаций, — поддержала свекровь.

Ефим посмотрел на разобранную печь взглядом профессионального механика, которому показали двигатель после «сам чинил по ролику», и, надо отдать должное, всё понял правильно. А дальше сделал то, что умел лучше всего на свете.

— Ну, слушайте, — он положил букет на стол, рядом с кирпичом. — Может, это и к лучшему, а? Печь всё равно

старая, перекладывать — золотая работа выйдет. Я тут как раз посчитал с одним человеком... Если дом продавать, то печь и разбирать не надо, покупатель всё равно всё снесёт. Получается, мамыши нам даже сэкономили на демонтаже.

Он ещё договаривал это своё «экономии на демонтаже», а я уже слышала только звон. Не в ушах. В голове. Тонкий такой звон, с которым лопается последняя ниточка.

— Продавать, — повторила я. — Ты опять про продавать. У тебя жена неделю живёт между двумя землеройками, у тебя тёща с молотком, у тебя печь деда в руинах, и ты приехал с пионами рассказать мне, что они сэкономили?

— Аль, ну я же в смысле...

— Да продать эту рухлядь, и вся недолга! — встряла вдруг свекровь, оживая. — Правильно Ефимушка говорит! И Стеллочка дело говорит: пока целый, продать, а то сгорит ещё, не дай бог, и...

Она поперхнулась на полуслове.

В кухне стало очень тихо. Даже пыль, по-моему, перестала оседать.

— Стеллочка, — я повернулась к свекрови всем корпусом. — Ефросинья Гавриловна. А откуда вы знаете, как её зовут?

Свекровь заметалась взглядом между мной, Ефимом и дверью.

— Так это в чате писали. В сельском. Риелторша, мол, ходит, Стелла.

— В чате писали «женщина в костюме». Я этот чат читаю каждый день. Имени там не было ни разу.

— Значит, Люба сказала.

— Люба её не видела.

— Значит, ты сама и сказала! — свекровь пошла в отказ, как танк через болото, с рёвом и брызгами. — Ты и сказала, а я запомнила! У меня память, слава богу! Я всё помню! Это у твоей матери склероз!

— У меня?! — взвилась мать.

И они сцепились снова, уже друг с другом, с полуоборота. Мать шагнула к свекрови, свекровь отшатнулась, взмахнула рукой, зацепила дверцу буфета — и с верхней полки, где он простоял, сколько я себя помню, поехал бабушкин сервиз.

Я успела к нему на полшага раньше пола. Поймала супницу, поймала блюдо, а чашки — нет. Три чашки, тонкие, в кобальтовую сетку, с золотым ободком, разлетелись по половицам звонко и окончательно.

Стало тихо, второй раз за день.

Бабушку я не застала: она умерла до моего рождения, и всё моё наследство от неё: фотография в горнице да этот сервиз, который дед берёг сорок лет и доставал два раза в год, на её день рождения и на день их свадьбы. Наливал чай в одну чашку, себе в стакан, и сидел с ней вдвоём. Мы не мешали.

Я присела и стала собирать осколки, голыми руками, с пола, по одному в ладонь. Один осколок полоснул по пальцу, я и не заметила сначала: увидела, когда на кобальтовой сетке

остался мой отпечаток, красный, как штамп.

— Алечка, пластырь!.. — дёрнулась свекровь.

— Сядьте. Обе.

Они сели. Синхронно, как в школе. Осколки я ссыпала в супницу, супницу поставила на буфет, палец замотала кухонным полотенцем. Руки мастера маникюра, между прочим. Мой рабочий инструмент. Завтра шесть клиентов.

А потом я повернулась к мужу, который всё это время простоял у стола, не шелохнувшись.

Ефим, самый родной когда-то человек, при слове «Стеллочка» сделал маленькую вещь. Крошечную. Он перестал вертеть в руках ключи от машины.

Замер. Как школьник у доски, когда учитель ведёт пальцем по журналу.

— Ефим, — позвала я почти ласково. — А ты знаешь Стеллу?

— Какую Стеллу? — голос у него не изменился. Молодец. Годы тренировок. — Риелторшу вашу? Откуда. Ты же сама говорила, приезжала какая-то тётка в костюме.

— Я не говорила тебе, что её зовут Стелла.

Пауза. Он улыбнулся — той самой улыбкой на полдвора, только теперь она включилась с задержкой, как лампочка на сырой проводке.

— Ну, значит, мать сказала. Или в чате. Аль, ты чего как следователь? Устал я от этого цирка, честно говорю.

— Он устал.

Я достала из кармана чек. Тот самый, сложенный вчетверо, потёртый на сгибах, потому что я таскала его с собой две недели, как больной зуб трогают языком.

— Держи, устал. Это тебе от «Волжской террасы». За четверг. За клубнику со сливками. За две трубочки. Забыл забрать.

И швырнула ему в лицо.

Бумажка полетела плохо, бестолково, как летают бумажки, — но он поймал. На автомате, одной рукой, тем самым красивым хватом, каким ловил Любкин мяч. Поймал и дёрнул, и чек порвался у меня ещё в пальцах, потому что я, оказывается, не выпустила.

Мы стояли друг напротив друга, и у каждого в руке было по половине чека. У него осталась клубника. У меня дата и время.

— Аля, — он начал медленно, глядя на свою половину. — Это не то, что...

— Только не говори «что ты думаешь». Придумай хоть раз что-нибудь своё.

— Я хотел сначала сам разобраться, потом тебе рассказать. Там деловая встреча была. По дому как раз, по документам. Аля, ну подумай о Любе хотя бы. Ей отец нужен. Нам нельзя сейчас ссориться.

— У нас всё было, Ефим, — я замотала полотенце на пальце ту же. — А про Любу ты вспомнил правильно. С опозданием на три четверга, но вспомнил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.